

— .log

ОГИТЛЕРОВСКОМ ВОСПРИЯТИИ ПРЕКРАСНОГО.

Заметка

Из мемуаров Альберта Шпеера.

Глава о совместном с Гитлером проектировании хрустальной мечты фюрера — купольного Дома собраний в Берлине, в 17 раз превосходящего своими размерами римский Собор св. Петра работы Браманте и Буонаротти:

«Венок, состоящий из ста прямоугольных мраморных колонн, имевших при высоте в двадцать четыре метра, можно сказать, человеческие размеры, перебивался как раз напротив входа нишей пятидесятиметровой высоты и двадцативосьмиметровой ширины, которую предполагалось выложить золотой мозаикой. Перед нишей (...) предполагалось установить на мраморном четырнадцатиметровом постаменте позолоченного орла, держащего в когтях увитую дубовыми листьями свастику. (...) Где-то под этим знаком [величия] находилось место вождя нации, который будет с него адресовать свои послания народам грядущего рейха. Я попытался подчеркнуть это место средствами архитектуры, но тут дал себя знать главный изъян отрицавшей пропорциональность архитектуры: Гитлера здесь совершенно невозможно было заметить» — (А. Шпеер, «Воспоминания», ч. I, гл. 11).

— То есть — продолжит про себя уже наш современник — проблема несоизмеримости трибуны со стоящим на ней вождём с размерами зала не могла бы быть решена иначе, как путём замены живого вождя его 3D-голограммой, неоднократно превышающей размеры самого крупного Человека!..

Читая этот отрывок из мемуаров герра Шпеера, я не могу отделаться от мысли, что человек, чьё чувство прекрасного то и дело соскальзывало с возвышенного (т. е. находящегося на границе соразмерного индивиду опыта и опыта индивиду несоразмерного) на ужасающее (т. е. всецело несоразмерное индивиду) и потому смешивающее одно с другим, должен а priori полагать, будто даже самая развитая личность, как предельное развитие человеческой индивидуальности, обладает внутренним миром, лишь немногим более сложным, чем сознание толпы на каком-нибудь стадионе, — из-за чего гамлетово «я — не флейта, на мне играть нельзя!» всегда должно казаться такому человеку не более, чем неудачной гиперболой досужего романтизма.

Не оттого ли Гитлер так фатально не справлялся в качестве художника с портретной живописью, из-за чего провалился на экзаменах в Венскую академию художеств, что о человеческой личности как таковой, о динамике её развития, он знал слишком мало? Но и о Боге Гитлер знал едва ли больше! Отсюда берёт начало весь его дешёвый мистицизм крови и весьма однобоко понятое

нищестанство. Ибо, согласно и Фоме Аквинскому, и И. Канту, к знанию Бога всякий приходит не иначе, как через возвышенное, — это гениально показал Буонаротти в Сикстинской капелле, где Первочеловек и Саваоф (запредельный вроде бы для Адама) едва-едва не соприкасаются указательными пальцами протянутых друг ко другу десниц! — а внимательное созерцание возвышенного per se невозможно вне непрерывной работы личности по самопознанию и самосовершенствованию. Впрочем, подробное доказательство этому я уже приводил в моём очерке «О ветвлении». Вот оно:

«В умном смысле [ἐν τῷ εἰδῶν νοῦτον], эгоизм есть закономерный итог ветвления, где часть Единого [τὸ μόνον], осознаёт, что стала чем-то особенным в отношении предшествующего ему целого [τὰ σύστημα], а вполне осознав это, обретает волю, понимаемую как способность определять самостоятельно свои обособленные намерения и свои особенные удовольствия. На этом уровне развития обособленное «я» вычленяется из предшествующего ему общего «мы», а индивид постепенно превращается в особу, осознанно творящую свой произвольный волеизъявление. Но, осознав себя волящим и в таком качестве Единым, ум [τὸ νοῦς] неизбежно осознаёт себя единичным, т.е. уникальным в своём акте волеизъявления. С этого момента «я», как ответвление предшествующего целого, становится закоперщиком распада этого целого, поскольку желает остаться обособленным и, в пределе, вообще единственным. Однако, быть вообще единственным, означает быть Богом и находится вне времени. Ведь во времени находится только то, что отправляется к некоторой внешней цели. Бог же, будучи единственным, не имеет ничего за пределами себя, а потому Он непознаваем, ибо всё познаётся в сравнении с чем-то внешним, иным; и, следовательно, познание есть процесс, длящийся во времени. Поэтому, добившись желаемого обособления, «я» неминуемо умирает для мира явленного [τὸ κοσμὸς φαίνομενῶν], материального, выпадая из времени. Так прекращается человек, ибо из человеческой оболочки, словно бабочка из кокона гусеницы, вырывается Бог... «Ты — многие и ты — один. Познай себя. Кроме тебя нет никого». Однако, оставив позади себя познание, «я» остаётся лишь Единым как таковым, перестав быть умом; хотя Единое, будучи формой всех форм Прекрасного [τὸ κάλός], само так же прекрасно. Но, лишившись большей части ума, можно до конца оставаться нравственным, только будучи нравственным целиком, что называется, до «мозга костей»; а ведь это и есть, собственно, святость».

К этому отрывку необходимо присовокупить следующее:

Я написал тогда «большой части ума», поскольку, при оптимальном развитии событий, меньшая часть его смыслов (τὸ εἶδει), будучи иными в отношении ума,

всё же не уничтожается полностью в этом их качестве, но усваивается умом, становясь для него своим иным. Ибо тут обособленному становится предельно ясно, что полностью уничтожив всё иное, он сам обращается в полнейшее ничто (οὐκίος), а, с другой стороны, части, столь же ясно поняв, что перестав быть частями чего-то большего, чем сами, они изрядно обеднеют в своём внутреннем содержании, соглашаются и далее оставаться частями прежнего целого. Зато и любить своё иное ум будет не меньше, чем себя самого, став, таким образом, главою весьма дружного семейства, пребывающего в равной мере и во времени, и в вечности, которое в совокупности и есть, по гамбургскому счёту, он сам, гениальной иллюстрацией чего, несомненно, выступает «Троица» Андрея Рублёва. Так эгоизм, из соображений самосохранения (ἐξ τῶν συνειδῶν αὐτοσυντήρησης), ограничивает сам себя.

Однако, это — оптимальный вариант, крайне редко достижимый в действительности, прежде всего, из-за суетности, присущей почти каждому. Поэтому, когда говорят: «...общество погружено в эгоизм», имеют ввиду что это общество до-нельзя раздроблено и порочно, т. е. *argès tout* эгоизм безграничный, а вовсе не тот, который даруя пропорциональную автономию всем со-членам целого, в конце концов утверждает святость и этого целого, и его частей. Так как большая часть человеческого рода, кажется, даже от самой опасности смерти (взять хотя бы любителей подлёдной рыбалки, по-весне во множестве гибнущих из-за того, что, несмотря на все предупреждения синоптиков и запреты властей, всё же предпочитают удить, сидя на до-нельзя истоньшившейся льдине) хотело бы отгородиться делами, на поверку не стоящими и выеденного яйца; закон же больших чисел, господствующий над всем протяжённым, и вовсе увеличивает количество таких дел лавинообразно. Сей лавинообразный рост, очевидно, опережает рост ума у лиц делающих эти дела, иначе бы они смогли регулярно отделять насущное от того, что можно отложить на потом и от того, что вообще вредно в чуть более отдалённой перспективе, нежели они обычно в состоянии узреть. Ума же им недостаёт из-за того, что ум в своём понятии (ἐν τῷ εἰδῶν) укоренён не в этом, наличном и преходящем мире, но в умопостигаемой вечности (ἐν τῷ αἰῶνον νόουγενον), ибо, в отличии от жизни (ἀπὸ τῆς ζωῆς), нуждающейся только в достижимом, т. е. предсказуемой исходя лишь из наличных по-близости посылок, ум нуждается чуть ли ни в той же мере и в недостижимом: «...Всегда искать я не устану / Того, чего найти нельзя, / И такова моя стезя». Поэтому живое *an sich* не может не бояться ума в чистом виде, со всеми его заскоками в запредельное, подобно тому, как здоровый рассудком (*die Vernunft*) обыватель боится даже тихого безумца, молчаливо опасаясь заразиться от него какой-нибудь

навязчивой мыслью. Вот почему, вместе с «водою», т. е. с упомянутыми заскоками, за борт часто выплёскивают и «младенца», т. е. преподаваемый навык безпристрастного и неспешного мышления. Это-та невозможность для мира явленного по-долгу находиться на свету разума (τὸ φῶς νοῦτος) и является единственным непосредственным следствием той дерзости (τὰ τὸλμα) первого обособления, первой инаковости, которую авраамические религии именуют «первородным грехом», и которая порождая, по совместному действию прочих законов протяжённости (так как взаимное притяжение тел обратнопропорционально расстоянию между ними, а всякая постоянная сила ipso facto действует всё ускоряясь), закон больших чисел, мешает этому миру отринуть от себя суету, даже если дальнейшее в ней прибывание ведёт к катастрофе: «И бежали от лица Его, [Саваофа,] небо и земля, ибо не нашлось им места». Всякий раз, когда на социальном горизонте мира начинает проглядывать возможность построения значительно более справедливого (т. е. основанного на разумном ограничении эгоизма), порядка (τὸ ἰοσμὸς), чем прежний, все те, от кого зависит это ограничение, не будучи к нему способны, направляют энергию, которую, по-уму, следовало бы направить на переустройство миропорядка, на очередную мировую войну. То есть, не будучи в состоянии усвоить более, чем они уже усвоили на некоторый момент, поскольку предполагаемые части не усматривают какой бы то ни было нужды в таковом расширенном целом, возникновение коего обернётся, скорее всего, нещадным грабежом его же периферии, властьпредержащие приходят в своего рода бешенство, после чего совершают поступки, решительно не совместимые с их обычной прозорливостью. Наиболее наглядным примером тому, безспорно, является вторжение Бонапарта в Россию, после фактического провала по её вине континентальной блокады британской торговли. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на вершине власти стран, уже испытанных на себе действие нового, более справедливого порядка, либо искренне желающих испытать наиболее прогрессивные его стороны, оказываются лица, одержимые, вроде Гитлера, безудержной гигантоманией, ибо и само общество этих стран столь же безудержно одержимо жаждой безотлагательных, а, значит, поспешных, перемен в направлении большей справедливости. В самом деле, если бы тогда, в 33-м, власть не попала в руки Гитлера, она бы, почти наверняка, досталась Э. Тельману со-товарищи!..

Вот и сейчас, находясь на пороге закономерного построения ноосферного социума и, соответственно, перехода всего мирового хозяйства на плановые, социалистические раг excellence, рельсы, Человечество, в силу экспоненциального роста суеты, низвергнется, по-видимому, в пучину термоядерной войны, так и не

попав в этот Эдем всемирной истории. Но не о возможности ли Огненного потопа в конце времён, как её раньше всех в Европе визуально обозначил Мишель Нострадамус на последних страницах своего потаённого альбома, намекает Книга Бытия, упоминая в самом конце четвёртой главы о Херувиме с вращающимся Огненным мечом, поставленном Богом после грехопадения у восточного входа в Эдем, чтобы преградить смертным путь ко Древу познания Добра и Зла?!. Ибо всякому читателю, не до конца обделённому поэтическим и богословским чутьём, понятно, что последние страницы потаённого акварельного альбома Нострадамуса являются точно такой же прямой отсылкой к четвёртой главе Книги Бытия, как фраза М. Е. Салтыкова-Щедрина «...оно близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой» — к тому месту Откровения, где великий ангел, стоя одной ногою на суше, а другой — на море, подняв руку к небу, клянётся именем Гóспода Міров, что «времени уже не будет». Впрочем, довольно об этом.

Итак, только внимание возвышенному полностью открывает для человеческого разума (τις ανθρωπίνος καθαρός νόησις) тот шлюз от «non plus ultra» к «plus ultra», который М. Хайдеггер называл греческим словом «ποίησις», и который есть присущая всякому разуму способность руководствоваться не только хорошо известным, но и известным лишь как предположительное единство пока отдельных, уже известных, звеньев цепочки, при том, что промежуточные звенья по-прежнему не известны и, возможно, не будут известны никогда.

Австрийский детский психолог Бруно Биттельгейм, отсидевший два года в гитлеровских концлагерях, где, по его мнению, решительно всё было «заточено» под то, чтобы полностью и навсегда сломить волю заключённого, всецело подчинив текущим распоряжениям начальства, писал в книге «Просвещённое сердце», что если бы Гитлеру удалось всё им задуманное, міру предстали бы стройные ряды «...,идеальных заключённых» — существ, лишённых личности, [т. е.] какого бы то ни было внутреннего содержания». «Все „идеальные заключённые“ — продолжает доктор Беттельгем — похожи друг на друга, как две капли воды. Ими очень легко управлять, — тысячью, миллионом таких существ может управлять один человек, переключая кнопки на пульте, как управляют радиомоделями».

Данное суждение, при всей его выпренности, определённо не лишено основания, ибо речь идёт о правителе, который, с первых своих шагов в этом качестве, выжигал калёным железом любую серьёзную попытку автономизации провинциальной власти. Более того, сам Гитлер высказался по этому вопросу совершенно недвусмысленно: «Что́ касается планового хозяйства, то оно у нас ещё

только в зародыше, и я представляю себе, какая это великолепная вещь — единый экономический порядок, охватывающий всю Германию и Европу». Однако получив на выходе целую Европу таких идеальных рабов, — будем же называть вещи их собственными именами, тем более, что по-гречески и τό, и другое обозначается одинаково: «τὼ πλῆρῶν σιλαβοί!» — гитлеровцы, уже после смерти своего вождя-основателя, несомненно, обрели бы общество, *toto genere* ещё более эгоистичное и, следовательно, безнравственное, чем это было в Римской империи времён Клавдия и Нерона, и чем оно есть теперь, после без малого шести десятилетий победного шествия по Европе затеянной либералами и эсдэками «сексуальной революции», — ибо что́, скажите на милость, кроме сугубой суеты, присущей всякому животному (τὸ ζῶον), остаётся на долю тех, из чьих голов тщательно выкорчевали все ростки *per se* разума?! Уничтожать же самоё жизнь Гитлер со-товарищи, вопреки Беттельгейму, едва ли намеревались, поскольку, как я уже писал выше, основным качеством жизни является предсказуемость, исходящая из наличных по-близости посылок. Всё-таки, как ни крути, а одно из основоположений национал-социализма, — *das Führerprinzip* возлагает на любого начальника не только всю полноту ответственности, но также и всю полноту полномочий на вверенном ему участке народного хозяйства... А τό, что самодержавие (ведь именно это слово являет собою самое точное смысловое подобие (τὸ ἀνάλογον εἰδετικὸς) немецкого «*das Führerprinzip*») вполне применимо, как таковое, не только в условиях полного рабства, но и, напротив, — в условиях отношений, человеческих до полной святости, отлично показал замечательный французский писатель М. Уэльбек в приведенном ниже месте своего романа «Карта и территория»:

«Думаете, Моррис был утопистом? — спросил [Джед Мартен]. — Законченным фантазёром? — В каком-то смысле — конечно [— отвечал Уэльбек. —] Он хотел упразднить школы, считая, что детям лучше обучаться в обстановке полнейшей свободы; он хотел упразднить тюрьмы, считая, что угрызения совести будут вполне достаточным наказанием для преступника. Трудно читать всю эту нелепицу, не испытывая смешанного чувства сострадания и гадливости. И всё же, и всё же... — Уэльбек запнулся, подыскивая слова. — И всё же, как это ни парадоксально, он добился известного успеха и в практическом плане. Чтобы претворить в жизнь свои идеи о возврате к кустарному производству, Моррис почти сразу создал предприятие по изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства; рабочие трудились там гораздо меньше, чем на фабриках тех времён, — мало чем, надо признать, отличавшихся от каторги, — а главное — они работали свободно, каждый отвечал за своё дело от начала до

— .log

конца. Главный принцип Уильяма Морриса состоял в том, что замысел должен быть неотделим от исполнения, как это было в Средние века. Все свидетельства говорят о том, что условия работы у него были просто идиллическими: светлые просторные мастерские на берегу реки. Прибыль перераспределялась между рабочими, и лишь незначительная её часть шла на финансирование социалистической пропаганды. Так вот, против ожидания, успех пришёл к ним немедленно, в том числе и коммерческий. От столярного ремесла они перешли к ювелирному, производили изделия из кожи, потом витражи, ткани, драпировку для мебели, и успех сопутствовал им во всём. Фирма Morris Co была прибыльным предприятием, с самого начала до самого конца своего существования. Ни одному рабочему кооперативу, которые возникали тут и там на всём протяжении девятнадцатого века, будь то фаланги Фурье или икарыйская колония Кабе, не удалось наладить эффективное производство материальных благ и продуктов питания — за исключением фирмы Уильяма Морриса, все остальные терпели одну неудачу за другой. Не говоря уже о коммунистических обществах, возникших позже... (...) Создаётся впечатление, что этот приземистый мужичок в маленьких очочках, с всклокоченной шевелюрой, красным подвижным лицом и лохматой бородой постоянно крутился как белка в колесе, не теряя при этом благожелательности и душевной простоты. Можно с уверенностью сказать, что в модели общества, предложенной Уильямом Моррисом, не было бы ничего утопического, если бы все люди в мире походили на Уильяма Морриса». В уме моём, загодя отвечая на недоумевающий вопрос наивного читателя: «Почему ж именно на Морриса?!», сами собой всплывают строки современного русского поэта:

«...», Но, Учитель, на касках блистают рога,
Чёрный ворон кружит над крестом...
Объясни мне сейчас, пожалей дурака,
А распятые оставь на потом!»
Онемел тут Спаситель, и топнул в-сердцах
По водной глади ногой: „Ты и верно — дурак!“ .
И Андрей в слезах побрёл с пескарями домой.
„Видишь, там, на горé,
Возвышается крест;
Под ним десяток солдат...
Повиси-ка на нём!,
А, когда надоест,
Возвращайся назад, —

— .log

Гулять по воде (...)

Со мной!“».

Ибо суть здесь не в личности У. Морриса и даже не в самодержавии его, а в том, чтобы отринуть от себя суету этого мира и большую часть мирской скверны, этой суетой порождаемой, что́ всегда (за редчайшим исключением, каковым и является *per se* личность и деяния У. Морриса) оборачивается на деле либо самоуничтожением лица, желающего отринуть суету, либо уничтожением мира, или, во всяком случае, изрядной и не маловажной его доли.

Так что задавая себе вопрос: что́ бы сказал Кант о Гитлере, если бы с помощью машины времени его полная биография вдруг очутилась в руках кёнигсбергского мудреца, я могу ответить лишь цитатой из Иоаннова Евангелия: «Он был человекоубийца (в иеронимовой Вульгате: „homicida“) от начала и не устоял в истине; ибо нет в нём Истины» — (Ин. 8; 44).

А Великая война и последовавшая за нею Ноябрьская революция только довершили дело, превратив обычного человекоубийцу в убийцу родóв (латинское: «genicida»).

Марат Зуф. Салихов. 6. 9. 2018 г.